



Патрик Зюскинд

ПАРФЮМЕР

ИСТОРИЯ
ОДНОГО УБИЙЦЫ

Содержание

[ЧАСТЬ ПЕРВАЯ](#)

[ЧАСТЬ ВТОРАЯ](#)

[ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ](#)

[ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ](#)

[От переводчика](#)

АЗБУКА
БЕСТСЕЛЛЕР

Патрик
Зюскинд

ПАРФЮМЕР
ИСТОРИЯ
ОДНОГО УБИЙЦЫ

Роман



Санкт-Петербург

Patrick Süskind
Das ParfUm
Copyright © 1985 by Diogenes Verlag
AG Zürich, Switzerland
All rights reserved

Перевод с немецкого Эллы Венгеровой

Серийное оформление Вадима Пожидаева

Зюскинд П.

Парфюмер : История одного убийцы : роман / Патрик Зюскинд ; пер. с нем. Э. Венгеровой. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2021. — (Азбука-бестселлер).

ISBN 978-5-389-19178-5

16+

Блистательный и загадочный «Парфюмер» Патрика Зюскинда был впервые напечатан в Швейцарии в 1985 году. Сегодня он признан самым знаменитым романом, написанным на немецком языке со времен «На Западном фронте без перемен» Ремарка, издан общим тиражом более 12 миллионов экземпляров, переведен на 47 языков, включая латынь, и, наконец, экранизирован. Фильм, вышедший в мировой прокат в 2006 году, имел огромный успех, а его создатели получили шесть наград Германской киноакадемии. Сегодня победное шествие Жан-Батиста Гренуя — великолепного всепобеждающего монстра — продолжается. Несомненно, этот захватывающий романтический детектив, уже ставший классикой, еще долго будет будоражить, притягивать и интриговать читателей самых разных пристрастий и вкусов.

© Э.В. Венгерова, перевод, 1999

© Издание на русском языке, оформление.

ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2015

Издательство АЗБУКА®

Часть первая

1

Восемнадцатом столетии во Франции жил человек, принадлежавший к самым гениальным и самым отвратительным фигурам этой эпохи, столь богатой гениальными и отвратительными фигурами. О нем и пойдет речь. Его звали Жан-Батист Гренуй, и если это имя, в отличие от имен других гениальных чудовищ вроде де Сада, Сен-Жюста, Фуше, Бонапарта и т. д., ныне предано забвению, то отнюдь не потому, что Гренуй уступал знаменитым исчадиям тьмы в высокомерии, презрении к людям, аморальности, — короче, в безбожии, но потому, что его гениальность и его феноменальное тщеславие ограничивались сферой, не оставляющей следов в истории, — летучим царством запахов.

В городах того времени стояла вонь, почти невообразимая для нас, современных людей. Улицы воняли навозом, дворы воняли мочой, лестницы воняли гнилым деревом и крысиным пометом, кухни — скверным углем и бараньим салом; непроветренные гостиные воняли слежавшейся пылью, спальни — грязными простынями, влажными перинами и остро-сладкими испарениями ночных горшков. Из каминов несло серой, из дубилен — едкими щелочами, со скотобоен — выпущенной кровью. Люди воняли потом и нестираным платьем; изо рта у них пахло сгнившими зубами, из животов — луковым соком, а их тела, когда они старели, начинали пахнуть старым сыром, и кислым молоком, и болезненными опухолями. Воняли реки, воняли площади, воняли церкви, воняло под мостами и во дворцах. Воняли крестьяне и священники,

подмастерья и жены мастеров, воняло все дворянское сословие, вонял даже сам король — он вонял, как хищный зверь, а королева — как старая коза, зимой и летом. Ибо в восемнадцатом столетии еще не была поставлена преграда разлагающей активности бактерий, а потому всякая человеческая деятельность, как созидательная, так и разрушительная, всякое проявление зарождающейся или погибающей жизни сопровождалось вонью.

И разумеется, в Париже стояла самая большая вонь, ибо Париж был самым большим городом Франции. А в самом Париже было такое место между улицами О-Фер и Ферронри под названием Кладбище Невинных, где стояла совсем уж адская вонь. Восемьсот лет подряд сюда доставляли покойников из Отель-Дьё и близлежащих приходов, восемьсот лет подряд сюда на тачках дюжинами свозили трупы и вываливали в длинные ямы, восемьсот лет подряд их укладывали слоями, скелетик к скелетику, в семейные склепы и братские могилы. И лишь позже, накануне Французской революции, после того как некоторые из могил угрожающе обвалились и вонь переполненного кладбища побудила жителей предместья не только к протестам, но и к настоящим бунтам, кладбище было наконец закрыто и разорено, миллионы костей и черепов сброшены в катакомбы Монмартра, а на этом месте сооружен рынок.

И вот здесь, в самом вонючем месте всего королевства, 17 июля 1738 года был произведен на свет Жан-Батист Гренуй. Это произошло в один из самых жарких дней года. Жара как свинец лежала над кладбищем, выдавливая в соседние переулки чад разложения, пропахший смесью гнилых арбузов и жженого рога. Мать Гренуя, когда начались схватки, стояла у рыбной лавки на улице О-Фер и чистила белянок, которых перед этим вынула из ведра. Рыба, якобы только утром

выуженная из Сены, воняла уже так сильно, что ее запах перекрывал запах трупов. Однако мать Гренуя не воспринимала ни рыбного, ни трупного запаха, так как ее обоняние было в высшей степени нечувствительно к запахам, а кроме того, у нее болело нутро, и боль убивала всякую чувствительность к раздражителям извне. Ей хотелось одного — чтобы эта боль прекратилась и омерзительные роды как можно быстрее остались позади. Рожала она в пятый раз. Со всеми предыдущими она справилась здесь, у рыбной лавки, все дети родились мертвыми или полумертвыми, ибо кровавая плоть, вылезавшая тогда из нее, не намного отличалась от рыбных потрохов, уже лежавших перед ней, да и жила не намного дольше, и вечером все вместе сгребали лопатой и увозили на тачке к кладбищу или вниз к реке. Так должно было произойти и сегодня, и мать Гренуя, которая была еще молода (ей как раз исполнилось двадцать пять), и еще довольно миловидна, и еще сохранила почти все зубы во рту и еще немного волос на голове, и, кроме подагры, и сифилиса, и легких головокружений, ничем серьезным не болела, и еще надеялась жить долго, может быть пять или десять лет, и, может быть, даже когда-нибудь выйти замуж и родить настоящих детей в качестве уважаемой супруги овдовевшего ремесленника... мать Гренуя желала от всей души, чтобы все поскорее кончилось. И когда схватки усилились, она забралась под свой разделочный стол и родила там, где рожала уже четыре раза, и отрезала новорожденное создание от пуповины рыбным ножом. Но потом из-за жары и вони, которую она воспринимала не как таковую, а только как нечто невыносимое, оглушающее, разящее — как поле лилий или как тесную комнату, в которой стоит слишком много нарциссов, — она потеряла сознание, опрокинулась на бок, вывалилась из-под стола на середину улицы и осталась лежать там с ножом в руке.

Крик, суматоха, толпа зевак окружает тело, приводят полицию. Женщина с ножом в руке все еще лежит на улице, медленно приходя в себя.

Спрашивают, что с ней.

— Ничего.

Что она делает ножом?

— Ничего.

Откуда кровь на ее юбках?

— Рыбная.

Она встает, отбрасывает нож и уходит, чтобы вымыться.

И тут, против ожидания, младенец под разделочным столом начинает орать. Люди оборачиваются на крик, обнаруживают под роем мух между требухой и отрезанными рыбными головами новорожденное дитя и вытаскивают его на свет Божий. Полиция отдает ребенка некой кормилице, а мать берут под стражу. И так как она ничего не отрицает и без лишних слов признает, что собиралась бросить ублюдка подыхать с голоду, как она, впрочем, проделывала уже четыре раза, ее отдают под суд, признают виновной в многократном детоубийстве и через несколько недель казнят на Гревской площади.

Ребенок к этому моменту перешел уже к третьей кормилице. Ни одна не соглашалась держать его у себя дольше нескольких дней. Они говорили, что он слишком жадный, что сосет за двоих и тем самым лишает молока других грудных детей, а их, мамок, — средств к существованию: ведь кормить одного-единственного младенца невыгодно. Офицер полиции, в чьи обязанности входило пристраивать подкидышей и сирот, некий Лафосс, скоро потерял терпение и решил было отнести ребенка в приют на улице Сент-Антуан, откуда ежедневно отправляли детей в Руан, в государственный приемник для подкидышей. Но поскольку транспортировка осуществлялась пешими

носильщиками и детей переносили в лыковых коробах, куда из соображений экономии сажали сразу четырех младенцев; поскольку из-за этого чрезвычайно возрастал процент смертности; поскольку носильщики по этой причине соглашались брать только крещеных младенцев и только с выправленным по форме путевым листом, на коем в Руане им должны были поставить печать; и поскольку младенец Гренуй не получил ни крещения, ни имени, каковое можно было бы по всей форме занести в путевой лист; и поскольку, далее, со стороны полиции было бы неприлично высадить безымянного младенца у дверей сборного пункта, что было бы единственным способом избавиться от прочих формальностей... поскольку, стало быть, возник ряд трудностей бюрократического характера, связанных с эвакуацией младенца, и поскольку, кроме того, время поджимало, офицер полиции Лафосс отказался от первоначального решения и дал указание сдать мальчика под расписку в какое-нибудь церковное учреждение, чтобы там его окрестили и определили его дальнейшую судьбу. Его сдали в монастырь Сен-Мерри на улице Сен-Мартен.

Он получил при крещении имя Жан-Батист. И так как приор в тот день пребывал в хорошем настроении и его благотворительные фонды не были до конца исчерпаны, ребенка не отправили в Руан, но постановили воспитать за счет монастыря. С этой целью его передали кормилице по имени Жанна Бюсси, проживавшей на улице Сен-Дени, которой для начала в качестве платы за услуги предложили три франка в неделю.

2

Несколько недель спустя кормилица Жанна Бюсси с плетеной корзиной в руках явилась к воротам монастыря и заявила открывшему ей отцу Террье —

лысому, слегка пахнущему уксусом монаху лет пятидесяти: «Вот!» — и поставила на порог корзину.

— Что это? — сказал Террье и, наклонившись над корзиной, обнюхал ее, ибо предполагал обнаружить в ней нечто съедобное.

— Ублюдок детоубийцы с улицы О-Фер!

Патер поворошил пальцем в корзине и открыл лицо спящего младенца.

— Он хорошо выглядит. Розовый и упитанный...

— Потому что он обожрал меня. Высосал до дна. Но теперь с этим покончено. Теперь можете кормить его сами козьим молоком, кашей, реповым соком. Он жрет все, этот ублюдок.

Патер Террье был человеком покладистым. По долгу службы он распоряжался монастырским благотворительным фондом, раздавал деньги бедным и неимущим. И он ожидал, что за это ему скажут спасибо и не будут обременять другими делами. Технические подробности были ему неприятны, ибо подробности всегда означали трудности, а трудности всегда нарушали его душевный покой, а этого он совершенно не выносил. Он сердился на себя за то, что вообще открыл ворота. Он желал, чтобы эта особа забрала свою корзину, и отправилась восвояси, и оставила его в покое со своими младенцами и проблемами. Он медленно выпрямился и втянул в себя сильный запах молока и свалывшейся овечьей шерсти, источаемый кормилицей. Запах был приятный.

— Я не понимаю, чего ты хочешь. Я действительно не понимаю, чего ты добиваешься. Я могу лишь представить себе, что этому младенцу отнюдь не повредит, если ты еще некоторое время покормишь его грудью.

— Ему не повредит, — отбрила Жанна, — а мне вредно. Я похудела на десять фунтов, хотя ела за троих. А чего ради? За три франка в неделю!

— Ах, понимаю, — сказала Террье чуть ли не с облегчением, — я в курсе дела: стало быть, речь опять о деньгах.

— Нет! — сказала кормилица.

— Не возражай! Речь всегда идет о деньгах. Если стучат в эти ворота, речь идет о деньгах. Иной раз я мечтаю, чтобы за дверью оказался человек, которому нужно что-то другое. Который, например, идучи мимо, захотел бы оставить здесь маленький знак внимания. Например, немного фруктов или несколько орехов. Мало ли по осени вещей, которые можно было бы занести, идучи мимо. Может быть, цветы. Пусть бы кто-нибудь просто заглянул и дружески сказал: «Бог в помощь, отец Террье, доброго вам здоровья!» Но, видно, до этого мне уже не дожить. Если стучат — значит нищий, а если не нищий, так торговец, а если не торговец, то ремесленник, и если он не попросит милостыню, значит предъявит счет. Нельзя на улицу выйти. Не успеешь пройти по улице и трех шагов, как тебя уж осаждают субъекты, которым вынь да положь деньги.

— Это не про меня, — сказала кормилица.

— Вот что я тебе скажу: ты не единственная кормилица в приходе. Есть сотни превосходных приемных матерей, которые только и мечтают за три франка в месяц давать этому прелестному младенцу грудь, или кашу, или соки, или иное пропитание...

— Вот и отдайте его такой!

— ...но, с другой стороны, нехорошо так швыряться ребенком. Кто знает, пойдет ли ему на пользу другое молоко? Дитя, знаешь ли, привыкло к запаху твоей груди и к биению твоего сердца.

И он снова глубоко втянул в себя аромат теплого пара, который распространяла кормилица, но, заметив, что слова его не возымели действия, прибавил:

— А теперь бери ребенка и отправляйся домой. Я обсужу это дело с приором. Я попрошу его платить тебе в дальнейшем четыре франка в неделю.

— Нет, — сказала кормилица.

— Ну так и быть: пять!

— Нет.

— Так сколько же ты требуешь? — вскричал Террье. — Пять франков — это куча денег за такие пустяки, как кормление младенца!

— Я вообще не хочу никаких денег, — сказала кормилица. — Я не хочу держать ублюдка в своем доме.

— Но почему же, моя милая? — сказал Террье и снова поворошил пальцем в корзине. — Ведь дитя очаровательное. Такое розовое, не плачет, спит спокойно, и оно крещено.

— Он одержим дьяволом.

Террье быстро вытащил палец из корзины.

— Невозможно! Абсолютно невозможно, чтобы грудное дитя было одержимо дьяволом. Дитя не человек, но предчеловек и не обладает еще полностью сформированной душой. Следовательно, для дьявола оно не представляет интереса. Может, он уже говорит? Может, у него судороги? Может, он передвигает вещи в комнате? Может, от него исходит неприятный запах?

— От него вообще ничем не пахнет.

— Вот видишь! Вот оно, знамение. Будь он одержим дьяволом, от него бы воняло.

И чтобы успокоить кормилицу и продемонстрировать свою собственную смелость, Террье приподнял корзину и принялся.

— Ничего особенного, — сказал он, несколько раз втянув воздух носом, — действительно ничего особенного. Правда, мне кажется, что из пеленок чем-то пахнет. — И он протянул ей корзину, дабы она подтвердила его впечатление.

— Я не о том, — угрюмо возразила кормилица и отодвинула от себя корзину. — Я не о том, что в пеленках. Его грязные пеленки пахнут хорошо. Но сам он, сам ублюдок, не пахнет.

— Потому что он здоров, — вскричал Террье, — он здоров, вот и не пахнет! Пахнут только больные дети, это же всем известно. К примеру, если у ребенка оспа, он пахнет конским навозом, а если скарлатина, то старыми яблоками, а чахоточный ребенок пахнет луком. Этот здоров — вот и все. Так зачем ему вонять? Разве твои собственные дети воняют?

— Нет, — сказала кормилица. — Мои дети пахнут так, как положено человеческим детям.

Террье осторожно поставил корзину обратно на землю, потому что почувствовал, как в нем нарастают первые приливы ярости из-за упрямства этой особы. Нельзя было исключить вероятности того, что в ходе дальнейшей дискуссии ему понадобятся обе руки для более свободной жестикуляции, и он не хотел тем самым причинить вред младенцу. Впрочем, для начала он крепко сцепил руки за спиной, выпятил свой острый живот по направлению к кормилице и строго спросил:

— Стало быть, ты утверждаешь, что тебе известно, как должно пахнуть дитя человеческое, каковое в то же время всегда — позволь тебе об этом напомнить, тем более что оно крещено — есть дитя Божие?

— Да, — сказала кормилица.

— И ты утверждаешь далее, что если оно не пахнет так, как должно пахнуть, по твоему разумению — по разумению кормилицы Жанны Бюсси с улицы Сен-Дени, — то это дитя дьявола?

Он выпростал из-за спины левую руку и угрожающе сунул ей под нос указательный палец, согнутый, как вопросительный знак. Кормилица задумалась. Ей было не по нутру, что разговор вдруг перешел в плоскость

теологического диспута, где она была обречена на поражение.

— Я вроде бы так не говорила, — отвечала она уклончиво. — При чем здесь дьявол или ни при чем, решайте сами, отец Террье, это не по моей части. Я знаю только одно: на меня этот младенец наводит ужас, потому что он не пахнет, как положено детям.

— Ага, — сказал удовлетворенно Террье и снова заложил руки за спину. — Значит, слова насчет дьявола мы берем обратно. Хорошо. А теперь будь так любезна растолковать мне: как пахнут грудные младенцы, если они пахнут так, как, по твоему мнению, им положено пахнуть? Ну-с?

— Они хорошо пахнут, — сказала кормилица.

— Что значит «хорошо»? — зарычал на нее Террье. — Мало ли что хорошо пахнет. Пучок лаванды хорошо пахнет. Мясо из супа хорошо пахнет. Аравийские сады хорошо пахнут. Я желаю знать, чем пахнут младенцы?

Кормилица медлила с ответом. Она, конечно, знала, как пахнут грудные младенцы, она знала это совершенно точно, через ее руки прошли дюжины малышей, она их кормила, выхаживала, укачивала, целовала... Она могла учуять их ночью, даже сейчас она явственно помнила носом этот младенческий запах. Но она еще никогда не обозначала его словами.

— Ну-с? — ощетинился Террье и нетерпеливо щелкнул пальцами.

— Стало быть, — начала кормилица, — так сразу не скажешь, потому как... Потому как они не везде пахнут одинаково, хотя они везде пахнут хорошо, понимаете, святой отец, ножки у них, к примеру, пахнут, как гладкие теплые камешки... Нет, скорее, как горшочки... Или как сливочное масло, свежее масло, да, в точности, они пахнут, как свежее масло. А тельце у них пахнет... Ну вроде галеты, размоченной в молоке. А голова, там, сверху, с затылка, где закручиваются волосы, ну вот тут,

святой отец, где у вас ничего уже не осталось, — и она постучала Террье, остолбеневшего от этого шквала дурацких подробностей и покорно склонившего голову, по лысине, — вот здесь, точно здесь, они пахнут лучше всего. Они пахнут карамелью, это такой чудный, такой сладкий запах, вы не представляете, святой отец! Как их тут понюхаешь, так и полюбишь, все одно — свои они или чужие. Вот так и должны пахнуть малые дети, а больше никак. А если они так не пахнут, если они там, сверху, совсем не пахнут, ровно как холодный воздух, вроде вот этого ублюдка, тогда... Вы можете объяснять это как угодно, святой отец, но я, — и она решительно скрестила руки на груди и с таким отвращением поглядела на корзину у своих ног, словно там сидела жаба, — я, Жанна Бюсси, больше не возьму это к себе!

Патер Террье медленно поднял опущенную голову и несколько раз провел пальцем по лысине, словно хотел пригладить там волосы, потом как бы случайно поднес палец к носу и задумчиво обнюхал.

— Как карамель?.. — спросил он, пытаясь снова взять строгий тон. — Карамель! Что ты понимаешь в карамели? Ты хоть раз ее ела?

— Не то чтобы... — сказала кормилица. — Но я была однажды в большой гостинице на улице Сент-Оноре и видела, как ее готовят из жженого сахара и сливок. Это пахло так вкусно, что я век не забуду.

— Ну-ну. Будь по-твоему, — сказал Террье и убрал палец из-под носа. — Теперь помолчи, пожалуйста! Мне стоит чрезвычайного напряжения сил продолжать беседу с тобой на этом уровне. Я констатирую, что ты отказываешься по каким-то причинам впредь кормить грудью доверенного тебе младенца Жан-Батиста Гренуя и в настоящий момент возвращаешь его временному опекуну — монастырю Сен-Мерри. Я нахожу это огорчительным, но, по-видимому, не могу ничего изменить. Ты уволена.

С этими словами он поднял корзину, еще раз вдохнул исчезающее тепло, шерстяное дуновение молока, и захлопнул ворота. Засим он отправился в свой кабинет.

3

Патер Террье был человек образованный. Он изучал не только теологию, но читал и философов и попутно занимался ботаникой и алхимией. Он старался развивать в себе критичность ума. Правда, он не стал бы в этом отношении заходить так далеко, как те, кто ставит под вопрос чудеса, пророчества или истинность текстов Священного Писания, — даже если они часто не поддавались разумному объяснению и даже прямо ему противоречили. Он предпочитал не касаться подобных проблем, они были ему слишком не по душе и могли бы повергнуть его в самую мучительную неуверенность и беспокойство, а ведь для того, чтобы пользоваться своим разумом, человек нуждается в уверенности и покое. Однако он самым решительным образом боролся с суевериями простого народа. Колдовство и гадание на картах, ношение амулетов, заговоры от дурного глаза, заклинания духов, фокусы в полнолуние... Чем только эти люди не занимались! Его глубоко удручало, что подобные языческие обычаи после более чем тысячелетнего существования христианской религии все еще не были искоренены. Да и большинство случаев так называемой одержимости дьяволом и связи с Сатаной при ближайшем рассмотрении оказывались суеверным спектаклем. Правда, отрицать само существование Сатаны, сомневаться в его власти — столь далеко отец Террье не стал бы заходить; решать подобные проблемы, касающиеся основ теологии, не дело простого, скромного монаха, на это есть иные инстанции. С другой стороны, было ясно как день, что, если такая недалекая особа, как эта кормилица,

утверждает, что она обнаружила какую-то чертовщину, значит Сатана никак не мог приложить руку к этому делу. Именно потому, что ей кажется, будто она его обнаружила. Ведь это верное доказательство, что никакой чертовщины нет и в помине, — Сатана не настолько глуп, чтобы позволять обнаружить себя кормилице Жанне Бюсси. Да еще нюхом! Этим самым примитивным, самым низменным из чувств! Как будто ад воняет серой, а рай — ладаном и миррой! Да это самое темное суеверие, достойное диких языческих времен, когда люди жили как животные, когда зрение их было настолько слабым, что они не различали цветов, но считали, что слышат запах крови, что могут по запаху отличить врага от друга, что их чуют великаны-людоеды и оборотни-волки, что на них охотятся эринии, — и потому приносили своим омерзительным богам сжигаемые на кострах вонючие чадающие жертвы. Ужасно! «Дурак видит носом» — больше, чем глазами, и, вероятно, свет богоданного разума должен светить еще тысячу лет, пока последние остатки первобытных верований не рассеются, как призраки.

— При чем же здесь это бедное малое дитя! Это невинное создание! Лежит в своей корзине и сладко спит и не ведает о мерзких подозрениях, выдвинутых против него. А эта наглая особа дерзает утверждать, что ты, мол, не пахнешь, как положено пахнуть человеческим детям! Ну и что мы на это скажем? У-тю-тю!

И он тихонько покачал корзину на коленях, погладил младенца пальцем по голове и несколько раз повторил «у-тю-тю», поскольку полагал, что это восклицание благотворно и успокоительно действует на грудных младенцев.

— Так тебе, значит, положено пахнуть карамелью, что за чепуха, у-тю-тю!

Через некоторое время он вытащил из корзины палец, сунул его себе под нос, принюхался, но услышал только запах кислой капусты, которую ел на обед.

Некоторое время он колебался, потом оглянулся — не наблюдает ли за ним кто-нибудь, поднял корзину с земли и погрузил в нее свой толстый нос, погрузил очень глубоко, так что тонкие рыжеватые волосики ребенка защекотали ему ноздри, и обнюхал голову младенца, ожидая втянуть некий запах. Он не слишком хорошо представлял себе, как должны пахнуть головы младенцев. Разумеется, не карамелью, это-то было ясно, ведь карамель — жженный сахар, а как же младенец, который до сих пор пил только молоко, может пахнуть жженым сахаром. Он мог бы пахнуть молоком, молоком кормилицы. Но молоком от него не пахло. Он мог бы пахнуть волосами, кожей и волосами, и, может быть, немного детским потом. И Террье принюхался и затем уговорил себя, что слышит запах кожи, волос и, может быть, слабый запах детского пота. Но он не слышал ничего. Как ни старался. Вероятно, младенцы не пахнут, думал он. Наверное, в этом дело. В том-то и дело, что младенец, если его содержать в чистоте, вообще не может пахнуть, как не может говорить, бегать или писать. Эти вещи приходят только с возрастом. Строго говоря, человек начинает источать сильный запах только в период полового созревания. Да, так оно и есть. Так — а не иначе. Разве в свое время Гораций не написал: «Юноша пахнет козленком, а девушка благоухает, как белый нарцисса цветок...»? Уж римляне кое-что в этом понимали! Человеческий запах — это всегда запах плоти, следовательно, запах греха. Так как же положено пахнуть младенцу, который еще ни сном ни духом не повинен в плотском грехе? Как ему положено пахнуть? У-тю-тю! Никак!

Он снова поставил корзину на колени и бережно покачал ее. Ребенок все еще крепко спал. Его правая

рука, маленькая и красная, высовывалась из-под крышки и дергалась по направлению к щеке. Террье умиленно улыбнулся и вдруг почувствовал себя очень уютно. На какой-то момент он даже позволил себе фантастическую мысль, что будто бы он — отец этого ребенка. Будто бы он стал не монахом, а нормальным обывателем, может быть — честным ремесленником, нашел себе жену, теплую такую бабу, пахнущую шерстью и молоком, и родили они сына, и вот он качает его на своих собственных коленях, своего собственного сына, у-тю-тю... Эта мысль доставляла удовольствие. В ней было что-то такое утешительное. Отец качает своего сына на коленях, у-тю-тю, картина была старой как мир и вечно новой и правильной картиной, с тех пор как свет стоит, вот именно! У Террье потеплело на душе, он расчувствовался.

Тут ребенок проснулся. Сначала проснулся его нос. Крошечный нос задвигался, задрался кверху и принюхался. Он втянул воздух и стал выпускать его короткими толчками, как при несостоявшемся чихании. Потом нос сморщился, и ребенок открыл глаза. Глаза были неопределенного цвета — между устрично-серым и опалово-бело-кремовым, затянуты слизистой пленкой и явно еще не слишком приспособлены для зрения. У Террье сложилось впечатление, что они его совершенно не воспринимали. Другое дело нос. Если тусклые глаза ребенка косились на нечто неопределенное, то его нос, казалось, фиксировал определенную цель, и Террье испытал странное ощущение, словно этой целью был он лично, его особа, сам Террье. Крошечные крылья носа вокруг двух крошечных дырок на лице ребенка раздувались, как распускающийся бутон. Или, скорее, как чашечки тех маленьких хищных растений, которые растут в королевском ботаническом саду. Кажется, что от них исходит какая-то жуткая втягивающая сила. Террье чудилось, что ребенок видит его, смотрит на

него своими ноздрями резко и испытующе, пронзительнее, чем мог бы смотреть глазами, словно глотает своим носом нечто исходящее от него, Террье, нечто, чего он, Террье, не смог ни спрятать, ни удержать.

Ребенок, не имевший запаха, бесстыдно его обнюхивал, вот что. Ребенок его чуял! И вдруг Террье показался себе воняющим — потом и уксусом, кислой капустой и нестираным платьем. Показался себе голым и уродливым, будто на него глазел некто, ничем себя не выдавший. Казалось, он пронюхивал его даже сквозь кожу, проникая внутрь, в самую глубь. Самые нежные чувства, самые грязные мысли обнажались перед этим маленьким алчным носом, который даже еще и не был настоящим носом, а всего лишь неким бугорком, ритмично морщившимся, и раздувающимся, и трепещущим крошечным дырчатым органом. Террье почувствовал озноб. Его мутило. Теперь и он тоже дернул носом, словно перед ним было что-то дурно пахнущее, с чем он не хотел иметь дело. Прощай, иллюзия, что тут его собственная плоть и кровь. Растоптана сентиментальная идиллия об отце, сыне и благоухающей матери. Слово оборван мягкий шлейф ласковых мыслей, который он нафантазировал вокруг самого себя и этого ребенка: чужое, холодное существо лежало на его коленях, враждебное животное, и, если бы не самообладание и богобоязненность, если бы не разумный взгляд на вещи, свойственный характеру Террье, он бы в припадке отвращения стряхнул его с себя, как какого-нибудь паука.

Одним рывком Террье встал и поставил корзину на стол. Он хотел избавиться от этого младенца и от этого дела как можно быстрее, сейчас, немедленно.

И тут младенец заорал. Он сощурил глаза, разверз свой красный зев и заверещал так пронзительно и противно, что у Террье кровь застыла в жилах. Он тряс

корзину на вытянутой руке и кричал «у-тю-тю!», чтобы заставить ребенка замолчать, но тот ревел все громче, лицо его посинело, и он, казалось, готов был лопнуть от рева.

Убрать его прочь! — думал Террье, сей момент убрать прочь этого... «дьявола», хотел он сказать, но спохватился и прикусил язык... Прочь это чудовище, этого невыносимого ребенка! Но куда? Он знал дюжину кормилиц и сиротских домов в квартале, но они были расположены слишком близко, слишком вплотную к нему, а это создание надо было убрать подальше, так далеко, чтобы его нельзя было в любой момент снова поставить под дверь, по возможности его следует отправить в другой приход, еще лучше — на другой берег Сены, лучше бы всего — за пределы города, в предместье Сент-Антуан, вот куда! Вот куда мы отправим этого крикуна, далеко на восток от города, по ту сторону Бастилии, где по ночам запирают ворота.

И, подобрав подол своей сутаны, он схватил ревущую корзину и бросился бежать — бежать по лабиринту переулков к Сент-Антуанскому предместью, бежать вдоль Сены, на восток, прочь из города, дальше до улицы Шаронн и вдоль этой улицы почти до конца, где он недалеко от монастыря Магдалины знал адрес некой мадам Гайар, которая брала на полный пансион детей любого возраста и любого происхождения, лишь бы ей платили, и там он отдал все еще оравшего младенца, заплатил за год вперед и бежал обратно в город. Добравшись до монастыря, он сбросил свое платье, словно нечто замаранное, вымылся с головы до ног и забрался в своей келье в постель, где много раз перекрестился, долго молился и наконец уснул.

Мадам Гайар, хотя ей еще не было и тридцати лет, уже прожила свою жизнь. Внешность ее соответствовала ее действительному возрасту, но одновременно она выглядела вдвое, втрое, в сто раз старше, она выглядела как мумия девушки; но внутренне она давно была мертва. В детстве отец ударил ее кочергой по лбу, прямо над переносицей, и с тех пор она потеряла обоняние, и всякое ощущение человеческого тепла и человеческого холода, и вообще всякие сильные чувства. Одним этим ударом в ней были убиты и нежность, и отвращение, и радость, и отчаяние. Позже, совокупляясь с мужчиной и рожая своих детей, она точно так же не испытывала ничего, ровно ничего. Не печалилась о тех, которые у нее умирали, и не радовалась тем, которые у нее остались. Когда муж избивал ее, она не вздрагивала, и она не испытала облегчения, когда он умер от холеры в Отель-Дьё. Единственные два известных ей ощущения были едва заметное помрачение души, когда приближалась ежемесячная мигрень, и едва заметное просветление души, когда мигрень проходила. И больше ничего не чувствовала эта умершая заживо женщина.

С другой стороны... А может быть, как раз из-за полного отсутствия эмоциональности мадам Гайар обладала беспощадным чувством порядка и справедливости. Она не отдавала предпочтения ни одному из порученных ей попечению детей и ни одного не ущемляла. Она кормила их три раза в день, и больше им не доставалось ни кусочка. Она пеленала маленьких три раза в день, и только до года. Кто после этого еще мочился в штаны, получал равнодушную пощечину и одной кормежкой меньше. Ровно половину получаемых денег она тратила на воспитанников, ровно половину удерживала для себя. В дешевые времена она не пыталась увеличить свой доход, но в тяжкие времена она не докладывала к затратам ни одного су, даже если

дело шло о жизни и смерти. Иначе предприятие стало бы для нее убыточным. Ей нужны были деньги, она все рассчитала совершенно точно. В старости она собиралась купить себе ренту, а сверх нее иметь еще достаточно средств, чтобы позволить себе помереть дома, а не околевать в Отель-Дьё, как ее муж. Сама его смерть оставила ее равнодушной. Но ей было отвратительно это публичное совместное умирание сотен чужих друг другу людей. Она хотела позволить себе частную смерть, и для этого ей нужно было набрать необходимую сумму полностью. Правда, бывали зимы, когда у нее из двух дюжин маленьких постояльцев помиралось трое или четверо. Но тем не менее этот результат был значительно лучше, чем у большинства частных воспитательниц, и намного превосходил результат больших государственных или церковных приютов, чьи потери часто составляли девять десятых подкидышей. Впрочем, заменить их не составляло труда. Париж производил ежегодно свыше десяти тысяч новых подкидышей, незаконнорожденных и сирот. Так что с некоторыми потерями легко мирились.

Для маленького Гренуя заведение мадам Гайар было благословением. Вероятно, нигде больше он бы не выжил. Но здесь, у этой бездушной женщины, он расцвел. Сложения он был крепкого и обладал редкой выносливостью.

Тот, кто подобно ему пережил собственное рождение среди отбросов, уже не так-то легко позволит сжить себя со свету. Он мог целыми днями хлебать водянистые супы, он обходился самым жидким молоком, переваривал самые гнилые овощи и испорченное мясо. На протяжении своего детства он пережил корь, дизентерию, ветряную оспу, холеру, падение в колодезь шестиметровой глубины и ожоги от кипятка, которым ошпарил себе грудь.

Хоть у него и остались от этого шрамы, и оспины, и струпья, и слегка изуродованная нога, из-за которой он прихрамывал, — он жил. Он был вынослив, как приспособившаяся бактерия, и неприхотлив, как клещ, который сидит на дереве и живет крошечной каплей крови, раздобытой несколько лет назад.

Для тела ему нужно было минимальное количество пищи и платя. Для души ему не нужно было ничего. Безопасность, внимание, нежность, любовь и тому подобные вещи, в которых якобы нуждается ребенок, были совершенно лишними для Гренуя. Более того, нам кажется, он сам лишил себя их, чтобы выжить, — с самого начала.

Крик, которым он заявил о своем рождении, крик из-под разделочного стола, приведший на эшафот его мать, не был инстинктивным криком о сострадании и любви. Это был взвешенный, мы чуть было не сказали — зрело взвешенный, крик, которым новорожденный решительно голосовал против любви и все-таки за жизнь. Впрочем, при данных обстоятельствах одно было возможно только без другого, и потребуй ребенок всего — он, без сомнения, тут же погиб бы самым жалким образом. Хотя... Он мог воспользоваться тогда предоставленной ему второй возможностью — молчать и выбрать путь от рождения до смерти без обходной дороги через жизнь, тем самым избавив мир и себя от огромного зла. Однако, чтобы столь скромно уйти в небытие, ему понадобился бы минимум врожденного дружелюбия, а им он не обладал. Он был с самого начала чудовищем. Он проголосовал за жизнь из чистого упрямства и из чистой злобности.

Разумеется, он решился на это не так, как решается взрослый человек, использующий свой более или менее сильный разум и опыт, чтобы выбрать между двумя различными перспективами. Но все же он сделал выбор — вегетативно, как делает выбор зерно: нужно ли ему

пускать ростки или лучше оставаться непроросшим. Или как клещ на дереве, коему жизнь тоже не предлагает ничего иного, кроме перманентной зимовки. Маленький уродливый клещ скручивает свое свинцово-серое тело в шарик, дабы обратить к внешнему миру минимальную поверхность; он делает свою кожу гладкой и плотной, чтобы не испускать наружу ничего — ни малейшего излучения, ни легчайшего испарения. Клещ специально делает себя маленьким и неприметным, чтобы никто не заметил и не растоптал его. Одинокий клещ, сосредоточившись в себе, сидит на своем дереве, слепой, глухой и немой, и только вынюхивает, годами вынюхивает на расстоянии нескольких миль кровь проходящих мимо живых, которых он никогда не догонит. Клещ мог бы позволить себе упасть. Он мог бы позволить себе упасть на землю леса, проползти на своих крошечных ножках несколько миллиметров туда или сюда и зарыться в сухую листву — умирать, и никто бы о нем не пожалел. Богу известно, что никто. Но клещ, упрямый, упорный и мерзкий, притаился, и живет, и ждет. Ждет, пока в высшей степени невероятный случай подгонит прямо к нему под дерево кровь в виде какого-нибудь животного. И только тогда он отрешается от своей скрытности, срывается, и вцепляется, и ввинчивается, впивается в чужую плоть.

Таким клещом был маленький Гренуй. Он жил, замкнувшись в свою оболочку, и ждал лучших времен. Миру он не отдавал ничего, кроме своих нечистот: ни улыбки, ни крика, ни блеска глаз, ни даже запаха. Любая другая женщина оттолкнула бы этого ребенка. Но не мадам Гайар. У нее ведь не было обоняния, она не знала, что он не пахнет, и не ждала от него никакого душевного движения, потому что ее собственная душа была запечатана.